



## **В. Н. ТУРБИН**

### **Пушкин. Гоголь. Лермонтов. Об изучении литературных жанров**

(отрывок)

Притча о блудном сыне занимает в художественном мире Пушкина место исключительное. Сказки Пушкина, начиная с «Руслана...», полнятся ею. Она же — в основе и «Станционного смотрителя», и «Метели».

В поисках объяснения пристрастия поэта к классическому мифу можно позволить себе не бояться осквернения призраком вульгарного социологизма. Распад дворянства и заполнение аристократии выходцами с периферии, ощущение вступления Европы в новую фазу исторического развития, утрата культурных традиций античности, Византии и дорогого поэту славянского язычества — все это не могло не наталкивать на мысли об утраченном отчем доме, о забываемых заветах. И в «Станционном смотрителе» притча о блудном сыне приходит в прозу Пушкина явленной откровенно, наглядно.

«Станционный смотритель» связан с текущей журнальной прозой так же прочно, как и легенда о древе яда: «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» рождались из переплетения журнальных «историй», «сказок», «былей» и «истинных происшествий»; память поэта хранила их в потрясавших страну политических катастрофах, в ссылках, в разлуках и душевных борениях. И просто-таки видишь, зришь, как «Повести...» рождаются в общем артельном труде.

«Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржет и бьется...», — сообщает Пушкин П. Плетневу в декабре 1830 года, и нас должно охватить недоумение: поэт-философ, рафинированный ум и чуткое сердце, неприлично «ржет», читая о загадочном Сильвио, о горестной участи Вырина или о злоключениях

влюбленных беглецов, поженившихся вовсе не так, как они намеревались. Но что же ему оставалось делать? Он-то видел все, оказавшееся скрытым при последующих толкованиях повестей. Он же, несомненно, знал, как возникла хотя бы «Метель», якобы записанная Белкиным со слов некоей девицы К. И. Т.

«Вон!» — закричал старик О., едва бедный Р. заикнулся о женитьбе — мужем дочери моей должен быть человек с именем, с состоянием и притом не такой молокосос, как ты.

Что оставалось несчастному? «Бежим! говорил он в отчаянии своей любезной; твой жестокий отец никогда не согласится на наше благополучие». — Можно вообразить себе, как поразили слова сии юную, благовоспитанную, хотя уже и прочитавшую несколько романов девицу... Она согласилась; но с тем, чтобы в приготовленной для побега карете сидел с нею не он, а его дядя; ему же положено ожидать их в пятидесяти верстах от города в одной деревне, где наперед уже был приготовлен священник.

Не увидеть тут пушкинской «Метели» невозможно: есть в «Метели» и «Р\*\*», только он — не возлюбленный похищаемой, а отец ее; предстает перед публикой и «стройная, бледная и семнадцатилетняя девица», которая «была воспитана на французских романах и следственно была влюблена». В анонимном «истинном происшествии», носившем название «Кто бы это предвидел?» (Благонамеренный. 1818. № 1), выступает «жестокий отец», который «никогда не согласится на наше благополучие». А у Пушкина: «воля жестоких родителей», препятствующая «нашему благополучию». В журнале возлюбленная предлагает венчаться «в пятидесяти верстах от города», у Пушкина — «ехать за пять верст». И там и здесь вместо жениха появляется кто-то другой: в повести — «его дядя». Дядя этот по дороге уговаривает беглянку выйти замуж за... него. «Смущенная, совершенно расстроенная девушка не отвечала; но позволила вести себя к первой встретившейся деревне и обвенчать», — говорится в «истинном происшествии».

У Пушкина беглецы предполагают «скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей». Покидая дом, Марья Гавриловна оставляет письмо, которое она «оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей». Наконец, в третий раз точно такой же жест явится в финале повести, когда тайно обвенчанные муж и жена объяснились; и муж, страстно влюбившийся в свою неузнанную жену, опознал ее «и бросился к ее ногам». А в «Кто бы это предвидел?» герои, молодые супруги, «бросились к ногам отца».

У Пушкина все значительно усложнено: и тема рока введена; и метафоры зрения и ослепления проходят через всю историю злоключений героев; и откровенных натяжек девица К. И. Т., дорвавшись до возможности рассказать свой вариант слышанного и читанного ею, нагромодила более щедро. Причем классическая притча не покидала сознания рассказчицы, со слов которой «Метель» была якобы записана Иваном Петровичем Белкиным. Герои Белкина-Пушкина надеются, что тронутые их любовью родители «скажут им непременно: Дети! придите в наши объятия». И притча о блудном сыне животрепещет, таким образом, в их грезах, мечтах. Варьируется она и в «Кто бы это предвидел?». Но какую незатейливой выглядит она там!

На другой день супруги бросились к ногам отца. Старик О. отскочил на несколько шагов. «Как, вскричал он в изумлении: да ведь ты убежала со своим молокососом! Это что за человек?» — Ему объяснили все дело; однако ж он прогнал их и простил не скоро.

А бедный племянник? Он и теперь еще дожидается своей невесты. Время, разлука, разсеение, новая любовь, которую молодость встречает почти повсюду, вероятно истребили из его сердца прежнее чувство.

Странный случай! Можно было подумать, что тут был умысел со стороны дяди; однакож предание не говорит о том ни слова.

Пушкин охотно и откровенно берет «Кто бы это предвидел?» за основу «Метели». Впрочем, делает это не Пушкин, а Белкин. Пушкин и Белкин с подкупающей откровенностью ссылаются именно на журнал «Благонамеренный»; в «Истории села Горюхина» прямо говорится: Белкин, вздумавший заняться самообразованием и оказавшийся в столице, «заходил... обыкновенно в низенькую конфетную лавку и за чашкой шоколаду читал литературные журналы. Однажды сидел я углубленный в критическую статью «Благонамеренного»...», — спроста сообщает он. И слагается замысловатая история похождения и преобразений, которые претерпела маленькая историйка: Белкин однажды был где-то *рядом* с историей, которую он нам рассказывает; но он не прочитал ее, предпочтя «критическую статью» (существенно: литературно-критические статьи стали печататься в журнале точно с 1820 года). Он и опоздал, и читал не то, что двумя годами ранее прочла «девица К. И. Т.». А «девица К. И. Т.» прочла как раз то, что впоследствии приглянулось тому же Белкину. И «истинное происшествие», пришедшее в журнал из стихии изустных преданий, девица возвратила в литературу. Но история о беглецах, о подмененном женихе, все время «оглядываясь» на притчу о блудном сыне, обогатилась. Появился образ ослепляющего бурана; замелькали реалии, придающие истории жизненное пол-

нокровие и правдоподобие. А сюжет усложнился так, что новая редакция его должна была бы вызвать у сочинителя первоначального варианта острейший пароксизм творческой зависти. Он должен был бы почувствовать себя слепцом, кривым, не увидевшим в ситуации того, что увидел в ней Пушкин. Или девица К. И. Т.? Или же Белкин? А Белкин тоже своего рода слепец, ибо однажды он был совсем близко от истории, записанной им впоследствии со слов соседки-девицы, но пропустил, проглядел ее. Кстати, слепота, вернее, окривление, частичное ослепление бедного Белкина — мотив, назойливо повторяющийся в его рассказе: читая критическую статью «Благонамеренного», он «так был занят, что не поднял и глаз». Далее: он гонится за подсевшим было к его столику сочинителем, г-ном Б. «Смотря во все стороны, увидел» он издали гороховую шинель этого Б., но зато не заметил шедшего ему навстречу «гвардейского офицера». Начиная же замечать всех офицеров, он теряет из виду литератора Б., догоняя вместо него какого-то стряпчего. Но прошли годы. И Белкин со слов девицы записывает новый вариант истории, печатным изложением которой он однажды манкировал. Издатель издает его записи, и история, описав замысловатый круг, возвращается в дом отечественной литературы.

Еще сложнее — со «Станционным смотрителем».

Исследователи обратили внимание на то, что в тридцатые годы появилась повесть, название которой совпадало с названием классической повести Пушкина: «Станционный смотритель». Написал ее В. Карлгоф. Но с ним обошлись по традиции, пренебрежительно, так, будто задача состояла в необходимости ограждать великого Пушкина от любых соприкосновений с «второстепенным» Карлгофом и доказать, что Пушкин писал значительно лучше. «...Нравоучительная повесть В. Карлгофа «Станционный смотритель» (1826), идеализирующая образ смотрителя по сентиментальному трафарету, описывает путевые впечатления путешественника, его ночлег у смотрителя»\*, — неотчетливо пересказал повесть В. Виноградов. В. Виноградов ссылаясь на отдельную книгу: «Повести и рассказы» В. Карлгофа (1832. Ч. 1). И на эту же книгу — ссылка и в его более ранней работе: повесть бегло пересказана; замечено, что развитие некоторых тем и образов ее, как и у Пушкина, предвосхищается «посредством описания обстановки горницы и висящих по стенам «портретов». Но в остальном «...между «Станционным смотрителем» Пушкина и

\* Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941. С. 468.

“Станционным смотрителем” В. Карлгофа нет ничего общего» (О стиле Пушкина, статья Виктора Виноградова // Литературное наследство. 16/18. М., 1934. С. 214). И снова мы видим перед собою ученого, читающего *книги*. И только *их*. Он даже не обращает внимания на странную чехарду дат: в 1826 году была написана повесть В. Карлгофа, в 1830 — повесть Пушкина. В 1832 году Карлгоф издает своего «Станционного смотрителя» отдельной книгой. Но где была повесть В. Карлгофа до 1832 года? И знали ли Пушкин о ее существовании? В. Виноградов проницательно уловил отголоски журнальных толков о ринопластике в прозе Гоголя, но к многозначительному совпадению в данном случае он отнесся пренебрежительно, обронив приговор «сентиментальному трафарету» и заверив себя, что между двумя одноименными повестями «нет ничего общего». Нравственная небрежность, высокомерное отношение к «какому-то» В. Карлгофу, к писателю заведомо «второстепенному» тотчас же обернулись профессиональной ошибкой. И проблема осталась открытой: повесть В. Карлгофа была опубликована *за три года* до пушкинского «Станционного смотрителя», в 1827 году, в журнале «Славянин», который издавал А. Воейков (№ VII). Пушкин прекрасно знал ее, и ориентировался он на нее недвусмысленно и откровенно: диалог с миром был его принципом; и В. Карлгоф был для него таким же равноправным собеседником, как и В. Шекспир; дуализм литературы «классической» и «массовой», принятого нами за эстетическую аксиому, сознание Пушкина просто не знало.

Если «девица К. И. Т.» читала «истинное происшествие» под названием «Кто бы это предвидел?», то столь же мифический «титularный советник А. Г. Н.», которым «рассказан был» «Станционный смотритель», внимательнейше читал и повесть В. Карлгофа, и только что вышедший тогда роман Ф. Булгарина «Иван Выжигин». И отозвался на обе эти вещи.

«Станционный смотритель» Пушкина — негативное отражение повести В. Карлгофа. Станционный смотритель у В. Карлгофа когда-то тайно бежал из Петербурга, похитив дочь купца, свою нынешнюю супругу; а у Пушкина то же сделали с ним, смотрителем: в противоположную сторону, в Петербург, увозят его дочь, и он, несчастный отец, должен идти, брести вслед за нею. Пешком пробирающийся в Петербург, станционный смотритель Пушкина, стало быть, как бы встречается в пути со скачущим ему навстречу героем Карлгофа, удачливым похитителем, направляющимся в провинцию с тем, чтобы вступить в должность... смотрителя почтовой станции.

Жизнь зрителя у В. Карлгофа благостна. «Милостивый государь, верьте мне, что, отказавшись от честолюбия, от рассеянности больших городов и от злословия маленьких, многим людям не достает только решимости сделаться станционными Смотрителями... Сделав этот... шаг, они *подружились бы с человечеством*, нашли бы покой сердечный... Моя *должность*... удовлетворяет всем моим потребностям...» — поучает проезжего зрителя у В. Карлгофа. Брызги словесного водопада, извергающегося из уст его, залетают и в другие повести Белкина-Пушкина: «*Рассеянные жители столиц*», о которых упоминается в «Выстреле», к примеру, явно вкусили «*рассеянности больших городов*», которую клянет В. Карлгоф. Но в «Станционном зрителе» Пушкин отвечает на *весь* словесный поток благополучного предшественника своего измученного героя.

«Кто не проклинал станционных зрителей, кто с ними не бранивался?.. Кто не почитает их извергами *человеческого рода*, равными... по крайней мере, муромским разбойникам?.. Какова *должность* сего диктатора... Не настоящая ли каторга?» — спрашивает А. Г. Н., титулярный советник; и в описании им жизни зрителя преломляются по крайней мере три воззрения, три ранее сказанных слова: повесть В. Карлгофа, стихотворение П. Вяземского, к которому отсылает эпиграф, и роман Ф. Булгарина.

Роман Булгарина «Иван Выжигин» в 1829—1830 годах был бестселлером, популярной новинкой. Русский быт описывался в нем довольно точно и порой остроумно. В одном из эпизодов в начале романа дело происходило на почтовой станции: станционный зритель вымогал у проезжающих взятки, а те осыпали его неистойвой бранью; особенно усердствовал в проклятиях друг героя романа, офицер Миловидин. Герой рассказывает: «...Кузьма, усатый лакей, отправившийся на почтовый двор с дорожною, возвратился и объявил ответ станционного зрителя, что нет лошадей... Миловидин выскочил из коляски и побежал опрометью в избу, а я за ним. Зритель сидел в халате за столом, и перевертывал книгу, где записывались дорожные. “Лошадей!” — закричал грозно Миловидин. — “Нет лошадей, все в разгоне”, — отвечал зритель хладнокровно. — “Если ты мне не дашь сию минуту лошадей, — сказал Миловидин, — то я запрягу тебя самого в коляску, с твоими чадами и домочадцами: слышишь ли?” “Шутить извольте”, возразил с прежним хладнокровием зритель. “Не угодно ли отдохнуть немного и откусать моего кофе, а между тем лошади придут

домой”. — “Чорт тебя побери с твоим кофе! Мне надобно лошадей!” воскликнул с гневом Миловидин. — “Нет лошадей!” — отвечал снова смотритель. — “Ты лжешь, по этой дороге никто не ездит, я никого не встретил”, сказал Миловидин. — “Извольте поверить почтовую книгу”. — “Я не хочу напрасно терять времени, и вместо того, чтобы считать страницы, пересчитаю твои ребра”, сказал Миловидин и приступил на шаг ближе к смотрителю. — “Вы напрасно изволите горячиться”, возразил последний: “извольте прочесть на стене почтовые постановления: вы увидите, что за оскорбление *почтового смотрителя*, пользующегося *чином 14 класса*, положен денежный штраф до ста рублей». Так — у Булгарина (с сохранением пунктуации и орфографии начала прошлого века). А у Пушкина — знаменитое: «Что такое *станционный смотритель*? Сущий мученик *четырнадцатого класса*, огражденный своим *чином* токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей)». И ясно, что и эта, ставшая классической фраза, и все начало повести — ответ Булгарину: взывая к совести (!) читателей — свидетелей происшедшего, — Пушкин заступает за смотрителя.

Да и как было не заступиться? Принимая от Миловидина мзду, смотритель у Булгарина сокрушается: «...Ведь жить надобно как-нибудь». И Миловидин неистовствует: «Вот в том-то и вся беда, что у нас почти все делается *как-нибудь*». Дважды повторенное «как-нибудь» — прямой полемический выпад, обращенный к Пушкину, к «Евгению Онегину», к крылатым словам:

Мы все учились понемногу  
Чему-нибудь и как-нибудь...

Булгарин мечет перуны, хихикает, обличает. Пушкин принимает вызов и отвечает Булгарину; сначала в эскизе, в «Записках молодого человека», где герой, которому смотритель отказал, вспоминает: «Я попытался подкупить его *совесть*, но он остался непоколебим и решительно отвергнул мой двугривенник... “Угодно ли... кофею”, — спросил меня смотритель» (здесь пародийные реплики, бросаемые Булгарину, уже слышны явственно). А позже — в каноническом варианте повести, рассказанном титулярным советником А. Г. Н.

Перед титулярным советником, стало быть, три станционных смотрителя: один — плут, взяточник, у Булгарина. Другой — благостный, преуспевающий, ангельски чистый и честный, у Карлгофа. А третий — «почтовой станции диктатор», из Вяземского. Простак сталкивает Вяземского, Карлгофа и Булгарина. Вступает о ними в беседу. И начинается диалог простодушного

рассказчика с сатирическим стихотворением, с романом и с журналом трехлетней давности; он с чем-то соглашается, чему-то не попадая поддакивает, а что-то опровергает решительно. Особенно же усердно опровергает он слащавые тирады Карлгофа.

Карлгоф: «Прекрасная сельская природа, рыбная ловля, охота с ружьем, работа в огороде, должность весело занимают меня целый день...».

Пушкин, вернее же, Белкин, пишущий со слов А. Г. Н.: «Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут — а виноват смотритель». И: «В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам; в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца».

У Карлгофа рассказчик задержался в доме смотрителя, «будучи не здоров и чувствуя сильную слабость». Якобы по тем же причинам задерживается на станции и гусар Минский; и с этого начинаются беды. Словом, А. Г. Н. делает с лежащей у всех на виду историей то же, что и девица К. И. Т. Он пере-лицо-выывает ее. И он не столько спорит с журналом «Славянин», сколько странно поддакивает ему, простоудушно доводя до абсурда только что услышанные им тирады.

«Мои дети получают воспитание, вероятно, лучше многих других... — твердит смотритель Карлгофа. — Чуждый мрачной, адской философии, порожденной вольнодумством прошедшего века и столько пагубной в своих последствиях, я посеял в их сердце христианскую нравственность...» И титулярный советник радостно подхватывает: «В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: *чин чина почитай*, ввелось в употребление другое, например, *ум ума почитай*? Какие возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанье подавать?» Последствия «мрачной, адской философии» низводятся на уровень быденного и, так сказать, обеденного быта; а осуществление идей равенства рисуется в виде застольного переполоха. «Бескорыстная любовь, веселое настоящее и сладкие надежды в будущем делают нашу жизнь раем, в котором не достает только вечности...» — вещает герой Карлгофа. И супруги у него живут в счастливом убеждении, «что, несмотря на своенравие случая, они еще полезны другим в гражданском быту...». Но шаткое счастье Вырина как раз в руках «своенравия случая», а жизнь его не походит на рай (признак рая не устроенность и доведенный до идеала комфорт, а прежде всего — безгреховность).

В «Анчаре» Пушкин очищал полуфабрикат легенды от подбностей. Но «Повести... Белкина» — другой жанр, несомый по-



током молвы: угасший впоследствии жанр, который каламбурно величает себя «историей». А имеются в виду донельзя запутанные происшествия, повествующие об экстравагантных трагических, героических или забавных приключениях обыкновенных людей. Проблема совести здесь тоже присутствует, но она затуманена уводящими в сторону узорами, ответвлениями и перебивками. Тут скорее — какое-то эхо проблемы, и за раскатами его трудно добраться до первоначального звука: герои поступают друг с другом не столько бес-совестно, сколько недобро-совестно; они морочат ближних, маскируются, притворяются, грешат, терзаются; и все это так замысловато по фабуле, что до проблемы, казалось бы, и не добраться.

Легенду об анчаре Пушкин очистил. Истории, вложенные им в уста И. П. Белкина, он, напротив, обогащает множеством жизненных наблюдений, скрытых намеков, точных подробностей быта, одновременно запутывая фабулу и форсируя мотивы, лишь вскользь мелькнувшие у предшественников.

Форсирование мотива — простой прием, который создает Пушкин, вступая в диалоги с журнальной прозой, с броским романом. «Кто бы это предвидел?» — спрашивает аноним, не замечая возможностей, скрытых в глаголе «предвидеть». Он обронил словечко и тем довольствовался. Но словечко подбирает девица К. И. Т., и завязывается история, поворотов которой не могут предвидеть ни читатели, ни сами ее участники. Зрение их деформировано волнением или внешними обстоятельствами. Марья Гавриловна задремала, и в дремоте *«видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного... другие безобразные... видения неслись перед нею...»*. Она *«задремала»*. Она *«залилась слезами»*. Она *«упала в обморок»*. Она *«потупила глаза»*: она живет на свете, в наиболее решительные минуты жизни не видя окружающего. Вслепую живет.

Слепоте героини вторит слепота героя истории. «На дворе была метель», — слепящая. Вспомним балладу «Бесы», тревожным строфам которой корреспондирует веселая повесть; там тоже люди ослеплены: *«Невидимкою луна освещает снег... Вьюга... слипает очи...»* Да и видения в балладе такие же: они *«безобразны»*. Бес *«в овраг толкает одичалого коня»*. А «Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами... Всё сугробы да овраги; поминутно сани опрокидывались...». И ничего-ничего не видно: *«...Сделалась такая метель, что он ничего не взвидел... Жадрина было не видать...»* И снова: *«Жадрина было не видать»*.

Люди видят то, чего нет: «*Казалось ей... Но ему казалось...*». И не видят того, что есть: сплошь какие-то мелкопоместные цари Эдипы начала XIX столетия, в ослеплении брачующиеся наугад, неведомо с кем. Их слепят собственные слезы, обмороки, дремота, метель.

Люди немые: «Владимир не говорил... ни слова... Горничная никому ни о чем не говорила...» Но они прозревают, уста их отворачиваются: «*В тот день немые возопиют и слепые прозрят*», — сбывается пророчество, над которым несколько лет спустя поглумится лермонтовский Печорин. Героиня истории и ее муж, вынырнувший из метельной круговерти, обвенчавшийся с нею и скрывшийся где-то во мгле, поистине прозрели: разомкнулись уста их, их очи увидели мир.

«*Странный случай!*» — воскликнул собрат Пушкина по перу, написавший «Кто бы это предвидел?». «*Как это странно!*» — подхватил Марья Гавриловна, злосключения которой были описаны девицею К. И. Т. Но предшественник Пушкина, вдохновивший девицу К. И. Т. на ее историю, не увидел, каким богатством располагал он. Девица увидела больше: непосредственные жизненные впечатления от преждевременной осенней метели, эхо античного мифа, сбывшиеся пророчества, литературная полемика — все вошло в ее сочинение. А началось с простого форсирования, нагнетания мотива «зрение — слепота».

Такое же форсирование мотива — и в «Станционном смотрителе».

«Бедный *смотритель* не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом». Опять — ослепление: утрата глаз. И скрытый каламбур, который почему-то почти невозможно заметить: *смотритель* — тот, кто смотрит, глядит, — на мгновенье *ослеп*. Он не смог прозреть, рассмотреть сути дела. Тема глаз, взгляда подспудно развивается и ранее: «Маленькая кокетка со *второго взгляда* заметила впечатление, произведенное ею на меня; она потупила *большие голубые глаза...*» Потупила глаза — ослепила себя. «Я вспомнил дочь старого *смотрителя* и обрадовался при мысли, что *увиджу* ее... Я *смотрел* на его седину...» — говорит рассказчик. Но он тоже слеп: он не видит того, что происходит в душе *смотрителя*, хотя он на *смотрителя* внимательно смотрит. Вырин начинает рассказывать о Дуне: «Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом деле только чтоб на нее подалее *поглядеть...* А я-то, старый дурак, не *нагляжусь*, бывало, не нарадуюсь...» Сталкиваются «будто бы» и «в самом деле»: то,

что утверждается, когда люди притворяются, делают *вид*, создают *видимость*, и то, что происходит вправду.

Смотритель — вдовец, а овдоветь — окриветь, потерять второе око (в «Записках молодого человека», явившихся наброском классической повести, герой отдавал подорожную «*кривому смотрителю*»). Он вел каторжную жизнь: каторга — земной ад, антитеза «рая» Карлгофа. Бедствовал он, но праведником он отнюдь не был; и жил он с дочерью, что ни день высылая ее к проезжающим: умиротворять их, ублажать. Дуня, заменившая Вырину жену и ставшая ему вторым оком, вовсе не невинное дитя: «В сенях я остановился и у ней просил позволения ее поцеловать, Дуня согласилась...» И Дуня, и отец ее жили двойной жизнью: много страдали они, но и грех нашел место в их доме, слепя их.

Смотритель высылал миловидную дочь к гостям, пользовался ее обаянием: каторга ослепляла его и ранее. В эпизоде с Минским смотритель делает то же, что делал всегда: он дает дочь гостю как бы напрокат. Гусар прощается «с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение...». Он предлагает довести Дуню «до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении... «Чего же ты боишься? — сказал ей отец, — ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви». И Дуня исчезает: взятое напрокат не возвращают; смотритель про-смотр-ел похищение, своеобразное освобождение дочери так же, как два дня тому назад не рассмотр-ел он притворства гостя, якобы заболевшего; «нашло на него ослепление». Немного погодя немец-доктор открывает смотрителю глаза на происшедшее. «Правду ли говорил немец или только желал похвастаться *дальновидностью*, но он ни мало тем не утешил бедного больного». Вырин идет в Петербург. Идет... пешком, хотя, казалось бы, ему надобно изо всех сил спешить спасать дочь! Найдя Минского, он «просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним *увидеться*... Минский *взглянул* на него быстро, вспыхнул...» (вспыхнуть, сверкнуть — ослепить). Отношение Минского к отцу — не однозначно жестокая несправедливость: он видит в отце Дуни соперника, недруга. Он смущен. Он пытается выкупить Дуню. Равно смущен и Вырин, который в конце концов принимает выкуп; а принятие выкупа за дочь для него равнозначно принятию казни: не только о плате идет речь, но и о расплате также. «Долго стоял он неподвижно, наконец *увидел* за обшлагом своего рукава сверток бумаг... Хорошо одетый молодой человек, *увидя* его,

подбежал к извозчику, сел...» Остается одно: идти в церковь; и Бырин влачится отслужить «молебен у Всех Скорбящих».

Герои повести или желают похвастаться дальновидностью; или полное ослепление находит на них; или же видят они лишь одну сторону явления, не видя другой. И закономерно появляется к концу событий «оборванный мальчик, рыжий и *кривой*» (!). Еще один кривой, какой-то шут, клоун со всеми атрибутами паяца: он «с кошкой возиться» норовит и «дудочки вырезывать» научился у покойного смотрителя. И «вспрыгнув на грудку песку», показывает он рассказчику могилу смотрителя, «в которую врыт был черный крест с медным образом». Этот шут, рыжий, клоун и явится вестником воцарившегося наконец на покинутой станции мира. Все встало на свои места: муж спит вечным сном рядом с женою, настоящею хозяйкой дома его; и оба они, супруг и супруга, уже за гранью, за границу видимого. За околицей (а «околица» — от «око»). Тема ока, глаз, очей в сцене, которую «ведет» кривой рыжий мальчик, окончательно выходит из-под спуда. Мальчик — последний, кто видел героиню повести, когда «смотрел на нее издали». «Кривое око видит далеко», — утверждает пословица. И именно «кривое око» веселого мальчугана видело развязку драмы, сути которой мальчишка, конечно, не понял и понять, про-зреть не мог: дочь, ставшая барыней, оче-вид-но, женою Минского, оплакивает отца, виновного перед ней и ею же казненного; мать, перед которой оба они виноваты.

Так, добродушно поддакивая нравоучительной повести В. Карлгофа, А. Г. Н. вступает в диалог с однажды уже сказанным словом, которое стало всеобщим достоянием. Он создает пространственные, объемные портреты современников, которые и делают повесть классическим произведением. Но портреты эти подобает, вероятно, рассматривать. Всматриваться в них; и лишь тогда глазам чуть-чуть приоткроется оче-видное. В диалоге с «второстепенным» писателем, которым опрометчиво пренебрегали, проступает и многократно упоминавшаяся в научной литературе о Пушкине притча о блудном сыне.

Описывая интерьер комнат смотрителя и его жены, беглянки из Петербурга, рассказчик у В. Карлгофа приходит в восторг: «Я попросил чаю; сказал, что будучи нездоров и чувствуя сильную слабость, решил ночевать у них. Хозяйка вышла; я раскурил трубку и от нечего делать начал *рассматривать* вещи, которые находились в горнице: здесь висели два ружья отличной работы; тут лоснился шкаф с посудой; там... но я *протер* прежде *глаза*, там... так! Шкаф, уставленный книгами, читаю *сквозь*

стекла; История Миллота, Сочинения Карамзина, Жуковского, его переводы — ниже, романы Жанлис; еще ниж... но это уж верно случайно! Schillers Werke, Goethes Werke, Mendelsohn, Gerder! Над диваном висели хорошей гравировки Саксонские виды...» «Под каждой картинкой прочел я *приличные немецкие стихи*», — поддакивает титулярный советник А. Г. Н., который тоже «заявляя *рассмотрением* картинок» в обители Вырина. Произведения Шиллера, Гете — и... «приличные немецкие стихи», а после — немец, который «желал похвастаться дальновидностью» — продолжение той «немецкой» линии, которая проходит через повествование В. Карлгофа — опять-таки немца (безобидные подтрунивания над национальным происхождением собрата по перу были в духе времени). В «Записках молодого человека», набросанных приблизительно за год до «Станционного смотрителя», тема немца, немецкого языка просвечивала еще яснее; рассказчику-юноше наскучило твердить «*немецкий урок*»; и он спешит на службу, в офицеры, считая службу благом: «...Уже никогда не молвлю ни единого *немецкого* слова». Кстати, там же — важнейшая деталь: рядом с иллюстрированной притчей о блудном сыне висят и другие лубочные картинки. «Они изображают погребение кота, спор *красного носа с сильным морозом* и тому подобное, — и в нравственном, как и художественном, отношении не стоят внимания образованного человека». Мальчик-офицер с апломбом отмахивается от изделий массовой культуры. А Пушкин? Пушкин, кажется, другого мнения. Во всяком случае, в его произведениях будут варьироваться и история про «спор красного носа с сильным морозом»: не ее ли угадываем мы в сцене метельной встречи Гринева с чутким «вожатым»? И история про мышей, хоронивших кота, прозвучит у него. А офицер, мелькнувший в «Записках...»? Не начитался ли он Булгарина? Булгарина, подвизавшегося в роли борца с предрассудками, свысока взирающего на непросвещенную молву? Скорее всего, начитался! И Пушкин ни на минуту не спускает глаз с двух своих оппонентов: с Булгарина и с Карлгофа.

Можно предположить, что Пушкин отвечает Карлгофу с истинно немецким педантизмом. Что он сделал достаточно точный филологический анализ, так сказать, «Станционного смотрителя № 1»; рассматривал его и ничего не про-смотрел; гений, быть может, начинается с умения в-сматри-вать-ся в то, что другие делают, говорят и пишут безотчетно, произвольно, не вникая в смысл сокровенного. Карлгоф роняет фразеологизм, содержащий в себе незаметный парадокс: «*сильная слабость*». Пушкин

подхватывает эти понятия, расчленяет их. И возникнет *Самсон Вырин* — пожилой человек с богатырским именем, и сильный, и слабенький. Антитеза силы и слабости разворачивается на протяжении всей повести. Она начинается с упоминания в «Станционном смотрителе» басенной пары: Волк и Овца. «Его высокоблагородие *не волк...*» — говорит дочери Вырин. А после он паломником пойдет в столицу: «Авось, — думал смотритель, — приведу я домой *зablудшую овечку мою*». А потом антитеза выливается в олицетворения праведности и греховности: «довезти до *церкви*», «прокатись-ка до *церкви*», «подходя к *церкви*, увидел он...», «вошел в *церковь*», «в *церкви* не было...» И: «Бывало... идет из *кабака...*» Смотритель «пошел домой, ни жив, ни мертв». Все время так: жив — мертв; церковь — кабак. В мире Карлгофа все было неколебимо и устойчиво, и писатель по-обывательски близоруко проходил мимо то и дело попадавших ему на глаза симптомов парадоксальности представшего перед ним. Он был если не слеп, то, по крайней мере, катастрофически близорук; и он просто не знал, какие возможности таит в себе единственное привычное словосочетание: «сильная слабость». Пушкин вступил в диалог не столько, разумеется, персонально с Карлгофом, сколько с тенденцией, в нем воплотившейся. И в двух тональностях дан финал повести: в трагической тональности «черного креста», водруженного на могиле раба божьего Самсона; и в комической тональности «дудочки», которая словно бы так и мелькает в руках играющего с кошкой мальчишки-паяца.

И подобно тому как «черный крест» в финале повести выступает в откровенно шутовском антураже, в столь же шутовском, стократно преломленном молвой словесном окружении выступает и евангельская легенда — серия лубочных картинок. «Они изображали историю блудного сына...» Его странствия, его прегрешения и его возвращение в отчий дом.

Несовпадение всего происшедшего в повести с подобным прологом отмечалось не раз, и полемика с притчей, разумеется, очевидна. Но перед нами — полемика не *непосредственно* А. С. Пушкина с *собственно* мифом, а полемика, идущая где-то в недрах, в глубинах массовой культуры. Спор идет на языке этой культуры. В ее понятиях: на лубочные картинки титулярный советник А. Г. Н. отвечает какую-то контрпритчей, сочиненной им на тему журнала «Славянин», вышедшего в 1827 году, то есть незадолго до кончины И. П. Белкина, который «осенью 1828 года занемог простудною лихорадкой, обратившеюся в горячку, и умер...». В контрпритче этой все и так, как в первоисточнике, и совершенно не так, нет «рая» — есть «каторга». Нет безгрехов-

ности — есть грех: «...Поневоле согрешишь да пожелаешь... могилы» Дуне, — говорит Вырин, гадая об ее участи в Петербурге. И Вырин несколько кривит душой, освещая лишь одну сторону дела: плохо будет Дуне в столице, она пойдет на панель. Пред-рекая дочери будущее панельной девицы, отец как-то слишком уж дальновиден. Зато он уже забыл, что на станции она постоянно выходила к господам проезжающим; а о новой жизни, данной Дуне беспутным Минским, который оказался, видимо, совестливым человеком, презревшим предрассудки и взявшим в жены увезенную им беглянку, он не знает и не очень-то хочет знать. И непутевый гусар, поступивший праведно; и бредущий пешком в Петербург паломник-отец; и отвернувшаяся от него дочь; и конечное успокоение — все становится очень жизненным именно потому, что повесть сплошь пронизана литературными реминисценциями. И воспринимающий историю ослепшего зрителя в качестве простого сколка с жизни увидит лишь одну сторону дела. А другая сторона может открыться лишь по мере постижения литературного произведения в генетическом, структурном и функциональном единстве: *что* сказано, *как* построено сказанное и *откуда* оно пришло. И тогда станет понятнее, отчего веселился Баратынский, к которому попали истории Белкина. А казалось бы, нехорошо смеяться, читая о том, как паломник-отец, придя в столицу, сунулся к Минскому, «но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос».

Про-видение принесло на станцию в селе Н. проезжего; «и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью, вошел в комнату, требуя лошадей... Сняв мокрую, косматую шапку, отпугав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым, стройным гусаром с черными усиками».

Но над «черными усиками» был же, наверное, нос? И был «спор красного носа с сильным морозом»? И нос этот, поживши на станции, укатил, уехал, захватив с собой девушку, которая, наверное, «потупила большие голубые глаза», ослепила себя, ослепла. <...>

